

как письмо, а письмо — как телесная активность (автора): еда, возлияния, испражнения.

Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос <...>
И дух мой снова призывает
Ко испражнению прежних дней.

(А. С. Пушкин. Из письма к Вяземскому)

Однако «телесность» письма означает всего лишь, что письмо понимается б у к в а л ь н о — как письмо: суть письма, прежде всего фонетического, в том, что оно буквально, глупо-формально (показательно в этом плане подчеркнуто случайное название общества). «Тело», «простота», «самость» уже предполагают первописьмо мира — буквальное и вместе с тем метафорическое (поскольку метафора абсолютизирует форму). Тело письма — это буква мира.

Арзамасская буквальность scandalозна. Разговор о литературе идет в сугубо нелитературных терминах — на «языке кухарок», т. е. на цеховом языке. Но это значит, что разговор идет о литературе, что быт — это специфически литературный «жаргон». Быт — аллегория литературы, потому что принцип быта — накопление мелочей — это принцип письма и принцип риторики («умножительное распространение»). Быт изобилует, как и текст: его мелочи не вмещаются под шапку «трансцендентного означаемого», ускользают от верховного смысла.

Насколько далеко «литература» проникает в «реализм», сказать заранее невозможно, поскольку реализм — это и есть письмо литературы. Это собственно письмо (метафоры реализма — «портрет» и «зеркало» — это метафоры копии) и письмо интимное, погруженное в «частное». Поэтому арзамасский дискурс выходит за пределы дискурса арзамасцев (можно вспомнить свалку Плюшкина, тарантас Коробочки или рвоту как «волшебное изобилие»: «...и меня вырвало потоком каких-то бурых и зеленых веществ, которых, насколько мне помнилось, я не ел» [8, с. 271]).

С другой стороны, поскольку арзамасский дискурс сводит литературу к письму, он сам принадлежит полю письма. Границы этого поля определяет не письмо-означаемое, а письмо-фрейм — семантический язык описания мира; это поле, коэкстенсивное миру. С этой точки зрения интересно проследить территорию письма у Пушкина — восстановить пушкинскую «грамматологию». Однако поскольку письмо может проявляться только в письме, речь может идти только о дискурсе письма — о з а п и с и этого дискурса (пушкинские метафоры, принадлежащие фрейму письма, будут выделяться курсивом). В этом случае «реконструкция» фрейма равнозначна построению параллельного метафорического ряда, не имеющего «сущностной» силы. В том же качестве будет привлекаться и грамматология Ж. Деррида [9] — как вариант п р а к т и к и письма («граммалектика»), сопоставимый с пушкинским вариантом.

1

Как и для просветителей, мир для Пушкина открывается в линейном движении чтения, т. е. матрица мира — печатный текст. Но проявление этой матрицы — уже не чтение, а собственное письмо мира, или игра письма, которая мыслится прежде мира [9, с. 73]. Среди пушкинских «радостей текста» — *в е р с т к а* (составление «строк» и «строф»: *Все равны как на подбор; Полки ряды свои сомкнули; Рать солдатиков из воску/Он расставил в стройный ряд; Вдоль сонной улицы рядами/ Двойные фонари карет/Веселый изливают свет — и п а р а д - г а л о п —* череда «букв»: *И версты, теща праздный взор/В глазах мелькают как забор; А перед ним воображенье/Свой пестрый мечет фараон; Чета мелькает за четой.*